

С.Т. Григорьев

Казарма

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С11

С.Т. Григорьев

С11 Казарма / С.Т. Григорьев – М.: Книга по Требованию, 2021. – 90 с.

ISBN 978-5-4241-2715-1

Сергей Тимофеевич Григорьев(Григорьев-Патрашкин). Русский писатель. Начал печататься в 1899 г. Много странствовал по России. Автор исторических романов и повестей для детей и юношества: "Мальчий бунт" (1925), "Берко-кантист" (1927), "Александр Суворов" (1939), "Малахов курган" (1940), "Победа моря" (1945), приключенческих повестей "С мешком за смертью" (1924) и "Тайна Ани Гай" (1925). В остросюжетных романтических книгах Григорьева воспеваются отвага, верность и мужество.

ISBN 978-5-4241-2715-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© С. Т. Григорьев, 2021

Григорьев Сергей Тимофеевич
Казарма

Мобилизация — предварительная смерть...

Мокрый от слез на морозе поцелуй жены — и вот — я, не я, стою перед высокой лестницей на виадуке через пути. Морозно. Зеленый свет высоких фонарей. Хлопотня крикливых паровозов. По лестнице вверх серый солдатский ручей. Звякают, поблескивая штyki. Скрипят ступени под новыми сапогами. Крики: "Вот они — Карпаты!" И я с саквояжем в одной руке и с постелью в ремнях в другой, вливаюсь в серый поток и лезу на Карпаты.

У платформы — поезд для маршевой роты — теплушки. Нас, только что взятых, повезут в другом поезде, в "Максиме Горьком", как тут именуют IV класс.

Проиграла труба. У паровоза стал оркестр. Поезд с эшелонем с натугой сдвинулся с места. Оркестр играет все одно и то же колено из веселого и бодрого марша. Мимо проплывают вагоны; из раскрытых дверей машут серыми папахами, и — крики «ура». Седой старик стоит у пути и снимает шапку перед каждым вагоном, низко кланяется. Красный глаз последнего вагона. Оркестр смолк и ушел. Подают поезд для нас.

С руготней и дракой в вагоны лезут «черные» с холщевыми мешками за спиной, с сундуками, котомками, чемоданами... В вагоне темно и холодно. В окна — зеленый неверный свет... Рядом со мной провожают: мать и жена. Старуха мерно причитает, словно читает стихи нынешний поэт. Прислонясь в уголок, прислушиваюсь, настраивая себя на лад иронии, и слышу в потоке слов: "Какая эта трудная минуточка". Хочу усмехнуться и не могу удержать слез... А тот, низко уронив голову, сморкается громко и угрюмо повторяет уж который раз: "Идите с господом домой". Звонок. Жена к нему припала, и оба зашлись в бесконечном поцелуе. Расстались и простились без слов и слез.

Три звонкие капли колокольных ударов. Вагоны дрогнули, и морозно заскрипели под колесами рельсы. "Теперь мы выпьем ханжи?" — "Я не пью". — "Я знаю!" Он достает из корзинки бутылку квасу и большой флакон из-под вежеталя, полный фиолетового спирта. Откупорил квас, прилил туда денатурата, взболтнул, прижав перстом. Из бутылки фонтаном брызнуло прямо мне в лицо вонючей ханжой. Отираюсь смиренно. Он наливает в кружку, пьет и мучительно крикает. Долго кашляет и бранится. Повеселел. — "Что, хорошо?" — "Не хвалю!" — "Рвет с нее?" — "Всяко бывает!"

Баба-кондуктор поставила в фонарь свечу. «Огонька» достали кто откуда, как и мой сосед, все спутники. Затопили печь. И стало жарко так, что в кармане пальто у меня размякли и потекли конфеты, которые на дорогу кто-то мне сунул в карман...

В проходе у стены, схватясь за грудь и выпуча налитые кровью глаза, блюет, судя по одежде хитрованец, оборванный, в опорках. Из него хлещет на пол и стену, как из брандспойта. Где-то на верхней полке запели дико и нескладно: "Последний нынешний денечек".

У каких-то без имени станций поезд без расписания стоит долго. В вагоне — духота. Кричат: "Холодно! Что нас заморозить хотят". У печки груди антрацита — пошли ломать изгородь станционного сада. Трещат ломаемые доски и крашенные весело пылают в печи... С третьего этажа нар один загремел вниз. "Эй,

вставай, не до смерти разбился!" Встает и начинает по загаженному полу в присядку: "Вот как картошку копают!" "Молодчина!" В углу бритый, опухший орет с одышкой: "Ельник, подбельник — это не дрова. Любит жену мельник — это не беда".

Брежит день в мохнатые от инея окна. И все еще: "Ельник, подбельник это не дрова", но все ближе наша станция. Мой сосед расторговался ханжой. У кубов на станциях хвосты с чайниками: "Кипяток кипит". Какая повсюду грязная, загаженная вода! Попив чайку, пригорюнились, поют: "Прислоня к стене, безутешно рыдал". А как же мельник?

* * *

4-го ноября. На «Калитниковском» некто бритый, в погонах военного заурядчиновника, надо полагаю, оперный баритон, крикнул мне певуче: "За спину!" В ту минуту я сразу не понял своего превращения: "Что такое?" — "За спину! Что у меня, две спины?" В вагоне, пока трясло "Максимом Горьким", поговоркой стало: "За спину"...

Вывалились из вагона. Провожатые с винтовками окружили и как-то обидно покрикивают. А в Москве мы их и не видели будто. Мимо проходил и не взглянул носильщик. Сую ему в руку открытку, прошу, чтобы опустил в почтовый ящик известие домой, что благополучно доехал.

Взял. Даю двугривенную марку, — махнул рукой, не надо. То-есть он меня пожалел... Да, "За спину!"

"Omnia mea mecum porto" — кто это сказал, был мудрый человек. Свои "два места" я связал ремешком и повесил через плечо. Вспоминаю: бывало, с исступлением кричишь на станции, приехав: «Носильщик!» С "двумя местами" через весь город — пять верст до полкового штаба и обратно до казармы пять верст — постигаю, как немного надо солдату вещей. "Спервоначала все так, говорит мне в утешение провожатый: — потом, если во второй раз — с ложкой да кружкой". В «Максим-Горьком» два храбрых солдата вошли в вагон, оглянулись (отстали от того эшелона, дезертиры) и ужами заползли под низкую скамью. На ремешке жестяная кружка и ладунка из холста. Под лавку и плевали и окурки, и чай выплескивали, и огрызки. Баба с метлой приходила. "Не вымети солдат". — "Где?" — "Под лавкой". Заглянула: "Там нет". — "Как нет?" — "Да нет". Пришло время, — оказались. Выползли, оправили друг другу шинели, отряхнулись, достали из штанов по огромному серому огрызку сахара и кружки с ремешка с низа. И со всех сторон уж чайники рыльцами к солдатской кружке тянутся.

Брал с собой только самое необходимое. Пришли в казарму к темну, целый день на морозе у канцелярии держали. Пришли. Бросил на пол «вещи» и упал на нары в припадке бессильной ярости. Кругом солдатские сочувственные лица. "Ничего, это скоро пройдет".

Вспомнилось из "Войны и мира", где отступление французов в 1813 году с награбленными вещами. Толстой сравнивает их с обезьяной, запустившей руку в кувшин, полный орехов. Просто освободиться от вещей: разжать кулак!

Походное снаряжение. В Москве те солдаты перед лестницей на «Карпаты». — "Долго эти палки с собой будем таскать?" — "До первого костра чай кипятить, и дров собирать не надо". Третий год каждому солдату в маршевой роте навьючивают на спину колышки и палки. Говорят, в прифронтовой полосе

этими брошенными палками усеяна земля, а в тылу неумоимо точат миллионы новых палок — работают на оборону...

Сегодня в дальнем углу под нарами в нашей роте нашли новенький, совсем пустой чемодан, незапертый... И никто не мог вспомнить, чей это был. Люди в казарме долго не засиживаются. Тот, чей чемодан, быть может давно уж получил "Геоorgia пятой степени" (крест из двух палочек, связанных лычком на могиле). Ему не то что чемодан (от Мюра и Мерилиза), а и гроб не понадобился. Война без вещей. (Галицийское отступление в общем смысле).

* * *

5 ноября. Лежу на полу. (На нарах места не успел). Лежат все на боку, как копчушки в коробке. Уйдешь "до ветру", вернулся — места своего не отыщешь. Я улегся в проходе у стойки с винтовками. Долго препирался с дежурным: голова моя, как ей и быть следует, в двенадцатой роте, а ноги пришлось уже в 3-ей. Марочка! И я невозбранно вытягиваю свои ноги в чужую роту. Дежурный прикрутил лампу. Казарма утихает. Я спать не могу. Все еще какая-то горячка. Дышу, как рыба, выброшенная на берег. Дежурный ходит вдоль меня по корридору, жестоко кашляет. Остановился, плюет на пол. Мне кажется, что он плюнул на меня. Опять закашлял и смачно плюнул, совсем рядом с моей головой упал шматок мокроты. Я не виною: плюнуть некуда, спят по всему полу. Лучше лежать с открытыми глазами. Дневальный ходит по узкому проходу между двухъярусных нар и смотрит, как люди спят и "чтобы не было воровства".

Храп. Великолепное разнообразие храпов, свистов и вздохов. В одном углу — лай автомобильного кляксофона, раздраженно и властно остерегающий; в другом — нежно воркует горlinkа; сверху чихает паровой копер, забивающий сваю; внизу кто-то дышит так, словно на спор с артистическим проворством откупоривает бутылки — сотню откупорил и хочет откупорить еще тысячу. В сумраке кто-то вскочил на нарах, сел и дико закричал: "В одну шеренгу стройся! Ать! Два!" И повалился опять на свое место. Тихонько спрашиваю у дежурного: "Что это он там?" — "Кадровый. Четвертого кадра. Вчера из учебной команды. Пригрзилось". Где то во сне бормочет непонятно, долго, настойчиво, нежно, глум басом и заходится всхрапывая. Тоже пригрзилось.

На полу спят в повалку, укрывшись с головой. Вижу, кой-кто трясется от неслышного плача. Корридором от двери по полу тянет холод. Закутываюсь с головой... Сплю или не сплю? Вспоминаю дом и постигаю новое чувство, солдатскую жаль к покинутым там,

в Москве. В сущности, — себя жалко. На дворе вестовой пожарный выбивает в звонкий колокол часы. У окна, приткнувшись к маленькой копилке, шуршит газетой солдат. Рядом с ним второй, пользуясь случаем (свет) снял рубаху и выискивает вшей. С верхних нар раздается звучно и незаспанно: "Иванов, довольно читать!" Копилка погасла. Пересмеиваясь и перешоптываясь, крадутся и осторожно разоблачаются двое кадровых, опоздавших к поверке.

Храп, шорохи, вздохи. Крысы, цепко стукоча лапками, бегают под нарами. Дежурный, став на табурет, осторожно закуривает от лампы и, стоя около меня, позванивает, играя штыком.

Воздух густой. "Хоть топор вешай". Нет! Студень. На полу людское крошево, потом слой студня, еще (первый этаж нар) слой крошева из людей и слой студня

потолще, еще крошево (второй ярус) и толстый слой студня до потолка. В самой толще студня (союзного) — лампа — золотая назойливая муха, попавшая в клей. И жужжит, жужжит густым голосом. Нет, это в городе завыл гудок снарядного завода, зовущего первую смену... Должно быть у меня жар. "Двенадцатая вставай!" — неистово орет дежурный, припуская свет лампы.

* * *

10 ноября. Ефимов четыре раза был на фронте, четыре раза был ранен. Сегодня комиссия его признала наконец нестроевым и дали отпуск на поправку. Он плачет и не от радости, а от обиды, что так долго и безжалостно его, умирающего, держали "ни для чего" в казарме. "Трудно на фронте, Ефимов?" Глупейший, конечно, вопрос. — "Эх, и как еще трудно-то, братцы!"

* * *

Над входом в нашу казарму висит красный флаг с номером полка: это знамя полковой пожарной команды. Тут же, у игрушечного подобия пожарной каланчи, и колокол, в который так грустно, что сердце щемит, ночью вестовой отбивает часы.

* * *

Когда, сидя на нижних нарах пьешь чай, то сверху в кружку сыплется что? — грязь с сапог, солома, крошки хлеба, что-то копошится, беспомощно стараясь выплыть к берегу, живое... Третьего дня один старый солдат с веселым злорадством: "Сегодня у всех новеньких по одной да будет". Есть. И не по одной. О вшах Лев Толстой, — что "согревали тело" (Пьер и Каратаев). Вши не согревают, от них мороз по коже — в первый день, а потом не замечаешь, не до того. И забыл бы совсем, да везде на стенах наклеены видные плакаты: "Берегись вшей". "Не пей сырой воды. Не ешь сырых фруктов. Чаше мой руки". А вода в городском водопроводе едва сякнет — еще бы: войск в городе в три раза больше, чем было все население города до войны. В баню привели роту — по шайке воды на брата не хватило: и вымыться и «обстираться» — выбирай любое.

К кубу за кипятком надо стать за час до крика «вставай» в затылок, а то чаю не успеешь напиться — выгонят на двор строиться. "Не ешь сырых фруктов". Исполняется точно и буквально: ни сырых фруктов". Исполняется точно и буквально: ни сырых фруктов, ни даже киевского сухого варенья у нас в казарме не кушают.

* * *

До войны стоял гусарский полк. Гусары спали в мирное время на кроватях с матрацами и простынями. В книжке напечатано: "Довольствие нижних чинов рядового звания — не подлежит заучиванию на память". Но все и без заучивания твердо знают, что солдату по зачислении в часть полагается одеяло, тюфячная наволочка, четыре подушечных наволочки и три простыни. Но «война»!

На память от гусар остались надписи по стенам крупными красными буквами: "Атаману первая чарка и первая палка", "Святослав сказал: мертвые сраму не имеют." — все это для гусар. Военная культура, как только — война, полетела ко всем чертям. Мы, серая пехота, "берегись вшей".

* * *

Прапорщики на плацу гурьбой обошли нас и переспросили: "чем занимался"? А потом отошли и один горестно потрянул головой: "И это Москва!" А чего бы вы хотели? Обор остался. Да, это Москва. И вот, если взять равнение по левому флангу, где стоят кривоногие и колченогие оборванцы — так, пожалуй, и не так уж ужасны условия казарменной жизни: многие даже попали в рай, по сравнению с Москвой.

* * *

На фронте убивают и, что страшнее, калечат. Но не следовало бы забывать, что первая жертва стране армией приносится вот тут в казарме. Если бы расставить, как бывало в прошлые войны, войска по обывательским квартирам — во что бы обратился город, что сказали бы жители? И во что обратилось бы само войско. В окопах, там может быть и ужасно, а тут условия роскошные.

* * *

Казарма — сразу по голове. Сразу и надо. Все равно, что при купаньи входить в холодную воду — без жеманства и без бабьего подвизгиванья и поджимания.

* * *

Иначе некогда, да и невозможно во время войны. Вот так и отбираются "серые дьяволы." Идет не обучение и не подготовка, а в сущности совершается искусственный подбор: кто выдержал эту каторгу, тот и есть "серый дьявол." Казарма поголовно кашляет. Казарма кишит инвалидами. Все это отбросы, отсеб, то, что фабрики и заводы спускают в сточные трубы. Если что и ужасно, то то лишь, что так бедна наша людская руда, так много пустой породы, столько приходится промыть ее, отсеять на этом «грохоте» войны, каким является казарма, чтобы получить чистое золото маршевых рот.

* * *

К ночи. Пробили зорю. Казарма кашляет, охает, вздыхает, отходит к короткому болезненному сну. А на запорошенном снегом казарменном плацу после проверки снова выстроились взводы маршевой роты.

КОЛЫБЕЛЬ

Тесным хороводом строимся повзводно плечом к плечу. "Плотнее, плотнее становись. Ать! Два! Ать! Два!" Переступая с ноги на ногу, живое кольцо людей начинает мерно колыхаться из стороны в сторону. Стоя в этом хороводе, скоро забываешь про свое тело, изломанное за день. И справа, и слева, и спереди, и сзади мягкая, но мощная опора. И лица перед тобой колыхнутся вправо и влево. Мерное колыхание покоряет, успокаивает после дневной трепки. Колыбель для целого взвода из собственных тел! У солдата нет ни матери, ни жены — мы убаюкаем, упустуем сами себя... Посреди тесного круга стоят кадровые запева-лы. В такт мерному качанию запевают про Василия Рябова. Лица и глаза суровы. В усах у иных — проседь. Но как открыто и широко льется звук. Слова просто-душные: — "Гей, гей, гей, герой". А почему герой: "На разведку выходил, все начальству доносил." А в плен попал, то не сделал того, другого, третьего. Это не то, чтобы убить Минотавра, дракона или Медузу Горгону. Ну, а все-таки! И, может быть, даже труднее... Сколько написано нашими помпонными поэтами стишков в эту войну — и ни одной песни, чтобы проникла в казарму. Только какой-то куплетист написал для прапорщиков "Оружием на солнце сверкая"... Да и не к чему. Суть не в словах и не в мелодии даже, а вот в этом мерном колыхании плечом к плечу, в выдувании из самых закомор груди городской копоти и вони. Дышать правильно и дышать на открытом воздухе. Надо самому познать, как славно не бояться дышать чистым, хотя бы и морозным воздухом, как приятно на сон действует взводная колыбель. В казарме неизбежно душно, грязно и вонько. В казарме солдат — наименьшее время. Двенадцать часов движения на открытом воздухе. Для меня это переворот, землетрясение! Ведь там, дома, я гулял "для здоровья" не более двух часов в сутки. А мой сосед по отделению, рабочий с Прохоровской мануфактуры, каждый день на воздухе бывал только дойти туда и назад — двенадцать минут, да в праздник иногда на Воробьевы Горы. Дышать в мороз, ветер, слякоть, дождь! Я сразу лишился голоса. Кашель. Жар. Дома я лежал бы в постели и даже позвал бы доктора. Сегодня я иду в строю и шопотом кричу, когда взводный требует: "Ногу!", "Раз, два, три"! К вечеру — о, чудеса, — у меня вернулся голос с оттенком казарменного баритона. А дома хрипел бы и сипел бы целую неделю. Правда — кашель. Но все кашляют. Один — другой свалится от воспаления легких. Зато тут есть чахоточные, которые "не узнают себя" после двухмесячного казарменного режима. Спервоначала меня поразило и возмутило даже, что вместе с нами раным-рано по утрам выгоняют на плац за город и "несчастную нестроевщину" — хромоногих, больных. Пройдя до загородного плаца верст восемь, мы успели уж и приустать — и помаршировали и побегали и приемы, а хромые только доковыляли, и сейчас же их назад. Возвращаясь, мы нагоним их у казармы. Жестоко? Как посмотреть — не более ль жестоко было бы держать этих несчастных людей в дохлом, полном заразы тепле казармы, чем гнать их в мороз на улицу. Заболеют? В казарме всюду надписи: "Заболел — иди к доктору." Положат вместо казарменных голых нар на чистую больничную койку. Вчера, когда у меня захватило грудь, засыпая я слушал, как на дворе кричат и поют взводы маршевой роты и мечтал: "Хорошо бы заболеть." Все об этом мечтают.

* * *

17-го ноября. Россию любить трудно. Разная в окраске, но у всех народов есть доля простодушия в любви к отечеству: у немца — граничащая с тупостью, у француза тоже довольно забавно выходит, да и английская самоуверенность смешна перед лицом судьбы. Пусть-ка кто-нибудь попробует простодушно полюбить Россию!

СЕРЫЕ ДЬЯВОЛЫ

В прозвищах солдат тоже оттенки. "Томми Аткинс", «Пуалю». У нас в казарме с ласкательной насмешкой: "Ах, ты серый дьявол. "Да, серые дьяволы. В этом словечке и серость наша в мире, и вошь не забыта.

* * *

В третью роту ждали эшелон из тамбовского уезда. Маты плели из соломы целую неделю — новенькие, целой стопой под потолок сложены на всеобщую зависть. Дежурный сторожит, ровно цепной пес, чтобы кто из соседей не спер мата. К часу приезда — кубы в облаках пара, а кипятильщик с поленом стоит, никого к кубу не пускает. Ввалилась деревня с котомками, сундучками, в лаптях, — крик галочьей стаи. "Эй, длинноволосые, сюда!" В проходе корридора машинкой снимают мохнатый войлок с голов. На полу скоро гряда бурой шерсти человеческой шерсти! — "Ты чего в гриве спать улегся? Кто еще с длинными волосами?" Завтра с утра тамбовскую деревню в баню. Об них так заботятся по двум причинам. Во-первых, из них-то, из этой деревенщины, и выходит настоящий солдат ("Не рассуждать, когда я с тобой разговариваю"), а потом надо оберечь казарму от той заразы, которую они, наверное, принесли с собой.